

I

Я никогда такого не видел: перед глазами у него висят два круглых стеклышка в проводочных петлях. Он что, слепой? Если бы он прятал слепые глаза, я бы еще мог понять. Но он не слепой. Стеклышки темные и снаружи кажутся непрозрачными, но он видит сквозь них. Новейшее изобретение, по его словам.

— Они защищают глаза от солнца, — говорит он. — В этой вашей пустыне очень помогает. Меньше щуришься. И голова реже болит. Посмотрите. — Он притрагивается к уголкам глаз. — Никаких морщин. — Он снова опускает стекла на место. Да, действительно. Кожа у него как у молодого. — У нас все в таких ходят.

Мы сидим в лучшей комнате трактира, на столике между нами фляга и плошка с орехами. Причину его приезда мы не обсуждаем. Он прибыл в связи с чрезвычайным положением, этим все сказано. Мы предпочитаем говорить об охоте. Он рассказывает, как недавно выезжал на великолепную травлю: как забили тысячи оленей, кабанов, медведей, до того много, что целую гору туш пришлось так там и оставить («Хотя было жалко»). Я рассказываю о великолепных стаях перелетных гусей и уток, что каж-

дый год опускаются на наше озеро, и описываю здешние способы охоты. Предлагаю свозить его на туземной лодке на ночную рыбную ловлю.

— Презанятнейшее зрелище, — говорю я. — Рыбаки зажигают факелы и бьют над водой в барабаны, чтобы рыба шла прямо в сеть.

Он кивает. Рассказывает о своей поездке в другую приграничную провинцию, где жители едят некоторые виды змей и считают их лакомством; а еще рассказывает, как подстрелил огромную антилопу.

Среди непривычной мебели он двигается неуверенно, но свои темные стекла не снимает. Спать он уходит рано. В трактире он остановился потому, что ничего лучше наш город предложить не может. Трактирщику и служанкам я объясняю, что он очень важная персона.

— Полковник Джолл служит в Третьем отделе, — говорю я. — А Третий отдел в наше время самое важное подразделение Гражданской охраны. — Так, по крайней мере, утверждают сплетни, с большим запозданием доходящие до нас из столицы. Трактирщик кивает, служанки угодливо кланяются. — Мы обязаны произвести на него хорошее впечатление.

Выношу свою циновку на крепостную стену, где ночной ветерок позволяет ненадолго забыть о жаре. На плоских крышах города в лунном свете различаю силуэты спящих людей. Из-под ореховых деревьев с площади еще доносятся приглушенные голоса. В темноте рдеет, как светлячок, чья-то трубка: красная точка то тускнеет,

то снова вспыхивает. Лето медленно катится к концу. Сады изнемогают под бременем плодов. В столице я не был со времен своей молодости.

Просыпаюсь до рассвета и на цыпочках спускаюсь по лестнице мимо спящих солдат: они ворочаются, вздыхают и видят во сне своих матерей и невест. Сверху на нас смотрят тысячи звезд. Воистину мы здесь живем на крыше мира. Проснешься среди ночи под открытым небом, и дух захватывает.

Часовой у ворот сидит, скрестив ноги, и крепко спит, мушкет он держит на руках, как ребенка. Каморка привратника закрыта, его тележка стоит снаружи. Иду дальше.

— Условий для содержания заключенных у нас нет, — объясняю я. — Преступления здесь дело довольно редкое, виновные наказываются в основном штрафами или принудительными работами. Этот сарай, как видите, просто кладовка, пристроенная к амбару, где мы храним зерно.

В сарае тесно и воняет. Окон там нет. Двое задержанных лежат связанные на полу. Запах в сарае — от них, застарелый запах мочи. Зову стражника, приказываю:

— Пусть вымоются, и побыстрее.

Пропускаю гостя вперед и вслед за ним вхожу в прохладный сумрак амбара.

— В этом году надеемся собрать с общинных земель три тысячи бушелей. Сеем мы всего один раз. Последнее время погода весьма нам благоприятствует.

Мы ведем разговор о крысах и о способах сокращения их числа. Когда возвращаемся в сарай, там пахнет мокрой золой, а оба арестанта в ожидании стоят на коленях в углу. Один из них старик, другой совсем еще мальчик.

— Их поймали несколько дней назад, — говорю я. — Меньше чем в двадцати милях отсюда был набег. Случай необычный. Как правило, они так близко к крепости не подходят. Этих поймали уже после набега. Они утверждают, что ни при чем. Если хотите с ними побеседовать, я, разумеется, помогу вам и переведу.

Лицо у мальчика распухло, все в ссадинах, один глаз затек и не открывается. Сажусь перед ним на корточки, треплю по щеке.

— Послушай, — говорю я на приграничном диалекте, — мы хотим с тобой потолковать.

Он никак не отзывается.

— Дурачком прикидывается, — бурчит стражник. — Все ведь понимает.

— Кто его избил?

— Не я, — говорит стражник. — Его таким и привели.

— Кто тебя избил? — спрашиваю я мальчика.

Он меня не слушает. Он смотрит мимо меня, и не на стражника, а на полковника Джолла.

Я поворачиваюсь к Джоллу.

— Вероятно, он ничего подобного не видел. — И поясняю жестами: — Я имею в виду ваши стекла. Должно быть, думает, что вы слепой.

Но Джолл на мою улыбку не отвечает. Как я догадываюсь, в присутствии арестантов пола-

гается вести себя с известной долей официальности.

Опускаюсь на корточки перед стариком.

— Отец, послушай меня. Тебя поймали после угона скота. Дело нешуточное, сам понимаешь. Тебя могут наказать.

Старик облизывает губы. Лицо у него серое, измученное.

— Видишь этого господина, отец? Господин приехал к нам из столицы. Он объезжает все приграничные крепости. Его работа — узнавать правду. Другой работы у него нет. Он только узнает правду. Если не хочешь говорить со мной, тебе придется поговорить с ним. Ты меня понял?

— Ваша милость, — хрипло произносит старик и откашливается. — Ваша милость, никакие мы не воры. Солдаты схватили нас и связали. Ни за что ни про что. Мы в город шли, нам к лекарю надо. Парнишка этот — сын моей сестры. Нарыв у него, все никак не заживает. Мы не воры. Покажи их милостям свою болячку-то.

Ловко, рукой и зубами, мальчик развязывает тряпку, намотанную выше локтя. Последние слои повязки, пропитанные засохшей кровью и гноем, прилипли к коже, но он отдирает краешек тряпки и показывает мне багровый ободок нарыва.

— Видите, — говорит старик. — Что только ни пробовали, не заживает. Я его к лекарю вел, а нас солдаты схватили. Вот и все.

Мы с моим гостем идем назад через площадь. Мимо проходят, возвращаясь с плотины, три

женщины, на голове у них корзины с выстиранным бельем. Женщины с любопытством косятся на нас, но головы на напряженных шеях остаются неподвижными. Солнце палит нещадно.

— Эти двое — единственные, кого мы поймали за многие годы, — говорю я. — Просто случайность. В другое время мы не сумели бы показать вам вообще ни одного варвара. Этот их так называемый разбой не слишком нам досажает. Бывает, выкрадут пять-шесть овец или отобьют от каравана какого-нибудь мула. Иногда мы их за это наказываем, посылаем карательные отряды. Они ведь в основном из нищих племен, собственного скота у них очень мало, живут они на землях вдоль реки. Так что грабеж для них — почти неотъемлемая часть жизни. Старик говорит, они с мальчиком шли к лекарю. Допускаю, что так и было. Кто возьмет старика и больного мальчишку в разбойничий налет?

Внезапно я сознаю, что защищаю их.

— Конечно, полной уверенности нет. Но даже если они лгут, какая вам от них польза — простые невежественные люди?

Я пытаюсь подавить раздражение, которое он вызывает у меня своим загадочным молчанием и дешевой театральной таинственностью темных щитков, скрывающих здоровые глаза. Ходит он, сложив руки перед грудью, как женщина.

— Тем не менее я обязан их допросить, — говорит он. — И сегодня же вечером, если не возражаете. Со мной будет мой помощник. Кроме того, мне понадобится кто-нибудь, зна-

ющий местный язык. Может быть, стражник? Он говорит на диалекте?

— Да мы все тут на нем объясняемся. Мое присутствие было бы для вас нежелательно?

— Вам будет неинтересно. Мы действуем отработанными методами.

Никаких криков из амбара я не слышу, хотя многие потом утверждают, что слышали. Занимаясь в тот вечер своими обычными делами, я ни на миг не перестаю думать о том, что, возможно, сейчас происходит; более того, я сознательно настроил свой слух на регистр человеческой боли. Но амбар — здание массивное, с тяжелыми дверями и крохотными оконцами, да и стоит он далеко, за скотобойней и мельницей, в южном квартале. К тому же застава, ставшая впоследствии приграничной крепостью, постепенно переросла в земледельческое поселение, в город, где живут три тысячи душ и где шум повседневной жизни, которым эти души наполняют теплый летний вечер, не затихнет лишь из-за того, что кто-то где-то кричит. (Вот я уже и начал оправдываться.) Когда у полковника Джолла выпадает свободное время и мы снова встречаемся, я подвожу разговор к вопросу о пытках.

— А что, если допрашиваемый говорит правду, но понимает, что ему не верят? — спрашиваю я. — Ведь это ужасно, вам не кажется? Представьте себе: человек готов во всем признаться, он признается, больше ему призна-

ваться не в чем, он сломлен, но на него все равно давят и требуют новых признаний! И какую огромную ответственность берет на себя допрашивающий! Как вы вообще определяете, когда вам говорят правду?

— По тону голоса, — отвечает Джолл. — Когда человек говорит правду, голос у него звучит в некой особой тональности. Распознавать ее нам помогает специальная подготовка и практический опыт.

— Тональность правды?! А в обычной, обыденной речи вы тоже ее слышите? Вот сейчас, например, вы можете определить, правду я говорю или нет?

За все время нашего знакомства мы с ним впервые так откровенны, но он небрежно перечеркивает великий миг легким взмахом руки.

— Нет, вы меня не поняли. Я говорю лишь о вполне определенных обстоятельствах, когда правды необходимо доискиваться, когда, чтобы установить истину, я вынужден применять нажим. Сначала в ответ я слышу только ложь — это, знаете ли, проверено, — итак, сначала идет ложь, я нажимаю, снова идет ложь, я нажимаю сильнее, наступает перелом, затем я нажимаю еще сильнее и вот тогда уже слышу правду. Так и устанавливается истина.

Примем боль за истину, все прочее подвергнем сомнению. Вот что я выношу из беседы с полковником Джоллом, а воображение усердно рисует мне картинки из его жизни в столице, куда ему явно не терпится скорее вернуться

и где он — ах, эти безукоризненные ногти, этот лиловый платочек, эти изящные ноги в мягких туфлях! — разгуливает в антрактах по фойе и сплетничает с приятелями.

(Но, с другой стороны, кто я, чтобы доказывать, что между нами лежит пропасть? Я с ним пью, я с ним ем, я знакомлю его с нашими достопримечательностями, я оказываю ему всяческое содействие, как повелевает его мандат, и так далее. Империя требует от своих подданных не любви друг к другу, а лишь выполнения каждым его долга.)

Отчет, который он представляет мне как городскому судье, лаконичен.

«В ходе допроса были выявлены противоречия в показаниях задержанного. Когда ему было указано на эти противоречия, он пришел в ярость и напал на офицера, проводившего допрос. В последовавшей схватке задержанный сильно ударился о стену. Попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными».

Для составления протокола в полном соответствии с буквой закона я вызываю стражника и прошу его дать свидетельские показания. Он излагает факты, я записываю: «Задержанный разъярился и напал на приезжего офицера. Меня вызвали на помощь, чтобы его утихомирить. Но, пока я пришел, схватка уже кончилась. Задержанный был без сознания, из носа у него текла кровь». Я показываю ему,

где расписаться. Он почтительно берет у меня перо.

— Этот офицер объяснял тебе, что ты должен мне говорить? — тихо спрашиваю я.

— Так точно, — отвечает он.

— Руки у задержанного были связаны?

— Так точно. То есть никак нет.

Я отпускаю его и выписываю разрешение на похороны.

Но потом, вместо того чтобы лечь спать, беру фонарь, пересекаю площадь и в обход, переулками, добираюсь до амбара. Стражник сменился, перед дверью пристройки спит, завернувшись в одеяло, другой, такой же простой крестьянский парень. Сверчок в амбаре, слышав мое приближение, смолкает. Засов громко звякает, но стражник не просыпается. Поднимаю фонарь выше и вхожу в сарай, сознавая, что вторгаюсь в пределы, ставшие отныне освященными (или, если угодно, оскверненными, хотя какая разница?), в заповедник, оберегающий тайны Государства.

Мальчик лежит в углу на соломе, живой, не-вредимый. Кажется, что он спит, но его выдает напряженность позы. Руки у него связаны на груди. В другом углу — длинный белый сверток.

Я бужу стражника.

— Кто тебе приказал оставить труп в сарае? Кто зашил его в саван?

Он слышит гнев в моем голосе.

— Тот, который приехал вместе с господином офицером, с их милостью. Я когда засту-

пал, он как раз тут был. Он мальчишке этому сказал, я сам слышал: ты, говорит, спи со своим дедушкой, а то он озябнет. А потом еще вроде как хотел мальчишку тоже в саван зашить, в этот же самый, но не зашил.

Мальчик лежит все в той же неловкой позе, зажмурив глаза, а мы выносим труп из сарая. Во дворе стражник светит мне фонарем, я поддеваю ножом шов, распарываю саван и откидываю ткань с лица старика.

Седая борода слиплась от засохшей крови. Губы разбиты и оттянуты к деснам, зубы переломаны. Один глаз закатился, вместо другого кровавая дыра.

— Закрой его, — говорю я.

Стражник связывает края распоротого савана. Но узел развязывается.

— Мне сказали, он разбил голову о стенку. А ты что скажешь?

Стражник устало смотрит на меня и молчит.

— Принеси какую-нибудь бечевку и свяжи покрепче.

Я поднимаю фонарь над мальчиком. Тот даже не шевелится, но, когда я нагибаюсь и глажу его по щеке, он дергается, его начинает бить дрожь, по телу волнами бегут судороги.

— Не бойся, — говорю я. — Я тебе плохого не сделаю.

Он перекачивается на спину и закрывает лицо связанными руками. Руки у него опухли и побавгровели. Я пробую распутать веревки. Рядом с этим мальчиком я почему-то особенно неловок.